



Иероним Иеронимович Ясинский

А. П. Чехов

Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931) — русский писатель, журналист, поэт, литературный критик, переводчик, драматург, издатель и мемуарист.

А. П. Чехов

Осенью 1893 года я по литературным делам уехал в Москву. Шеллер-Михайлов просил меня, между прочим, переговорить с Сытинским об издании Полного собрания его сочинений. В сущности, это было уже второе издание. Первое разошлось еще в семидесятых годах. В Москве мне пришлось остановиться там, где останавливались все писатели по традиции, в "Лоскутной" гостинице, и номер мой пришелся как раз против номера, где остановился Чехов.

С Чеховым я знаком был уже несколько лет. Мы даже чувствовали друг к другу приязнь. Вообще он появился впервые в "Новом времени" под своей фамилией, а не под псевдонимом и сейчас же обратил на себя пристальное внимание всех литературных кругов.

Утром, помню, по делу Литературного фонда я был у Евгения Утина в тот день, когда в "Новом времени" взойшла звезда Чехова.

— Обратите внимание! — вскричал Утин и стал вслух читать рассказ Чехова о священни-

ке, который, придя в гости, украл бублик, так он был голоден, чтобы принести его домой детям. — Как свежо! Чисто гоголевское дарование. А вот принеси такой рассказ моему уважаемому родственнику (Стасюлевичу) в "Вестник Европы", пожалуй, не принял бы. У этого Суворина все-таки, надо заметить, большое литературное чутье: нашел Чехова!

Между прочим, о том, как нашел Суворин Чехова, рассказал мне как-то Сергей Атава. По словам Атавы, он всегда увлекался рассказами начинающего писателя, подписывающего свои крохотные рассказы в "Петербургской газете" А. Чехонте. Как-то вечером к нему приехал Маслов, сотрудник "Нового времени" (офицер необыкновенного роста и грациозной тончавости). Атава стал нахваливать Чехонте, а Маслов от него отправился к Суворину, который по вечерам лежал у себя в кабинете на кушетке и выслушивал от сотрудников, посещавших его, разные новости и советы, что предпринять в "Новом времени", что писать, чтобы заинтересовать публику, и кого привлечь к сотрудничеству из новых сил. Суворин потребовал "Петербургскую газету",

прочитал рассказ Чехонте и послал ему пригласительное письмо. Результатом такого косвенного влияния Атавы на Суворина и явился дебют Чехова.

Утром я позвонил по телефону Урусову, Кони, Андреевскому и всем рекомендовал прочесть рассказ Чехова о голодном священнике. В один день упрочилась слава Чехова.

Ко мне приехали на другой день писатели Горленко и Щеглов. Щеглов, оказалось, уже хорошо был знаком с Чеховым. Они уговорили меня поехать к новому писателю и поддержать его на первых порах. Для каждого начинающего писателя важно, чтобы старшие товарищи не относились к нему равнодушно. Горленко отстал на полдороге, а мы приехали к Чехову, который, оказалось, приехал из Москвы и остановился у Суворина. Ему была отведена особая комната. После обмена нашими впечатлениями и литературными мнениями по поводу текущего журнального момента Чехов признался нам, что в "Петербургской газете" он чувствует себя, по крайней мере, до сих пор чувствовал, одиноким, потому что был с опущенным забралом:

— Когда пишешь под псевдонимом, который все считают за таковой, как-то несовестно. С позволения сказать, все равно что под плотной маской раздеться донага и показаться перед публикой. Но извольте-ка раздеться и открыть лицо, да еще в газете с установленной репутацией, как "Новое время", по правде сказать, мурашки забегают. Но я сознательно стал писать в "Новом времени": авось, кто-нибудь поддержит меня в моем одиночестве. Суворин сам по себе очень хороший человек, и к тому же даже Буренин, которого все непрочь повесить на первой осине, писатель с большим литературным влиянием: похвалит он или обругает, в особенности если обругает, — карьера писателя обеспечена. Худо, когда злой критик молчит о писателе, а когда он о нем звонит — в ноги ему надо кланяться.

Чехов несколько раз после того видался со мною, был у меня, у Шеллера, у Быкова. Стали все чаще и чаще появляться его рассказы.

— Услужите, — сказал он мне, — будьте товарищем, дайте какой-нибудь рассказ в "Новое время".

Мне, разумеется, не было ни малейшей на-

добности и ни малейшей выгоды появляться в "Новом времени" после того, как я писал в "Отечественных записках" и в особенности в либеральном "Вестнике Европы", который всеми силами души ненавидел "Новое время". Вообще в "Новом времени", по крайней мере, на первых порах, являлись Салтыков, Тургенев и другие тузы, а Стасюлевич не переваривал Суворина, в особенности после фельетонов Буренина. Но мне ужасно не нравилось по временам, с какой тупой и естественной, впрочем, в кружках ненавистью говорили о своих партийных врагах либералы, в свою очередь, если к ним хорошенько приглядеться, весьма не отличавшиеся ни чистотой своих нравов, ни строгостью отношения к своим обязанностям и явно поддерживавшие интересы эксплуататоров, на вид чрезвычайно культурных, а тем не менее со стальными когтями. Эта либерально-чиновничья, адвокатская и банкирская среда благообразных и лицемерно улыбающихся хищников, поющих о страданиях простого народа, была противна нашему тогдашнему молодому поколению писателей, вышедших из-под

крыла "Отечественных записок". Даже в этом журнале слово "либерал" не употребляли в ругательном смысле, а в кружке Стасюлевича, Утина, Спасовича, Андреевского малейший протест против либеральной лжи вменялся нам в вину. Читаешь, бывало, новую повесть в рукописи, ее хвалят, даже чересчур, и тут же сыплются со всех сторон замечания: "Только, пожалуйста, уберите ваши выходки против либералов. Пора нам сомкнуть ряды, этак мы никогда не дождемся конституции, если будем выступать против свободы". У них свобода и либерализм умышленно смешивались и классовые противоречия смазывались жалобами на правительственные прижимки, одинаково тягостные для всех.

Таким образом, когда случайно, по знакомству с профессором Праховым, я познакомился с музыкальным критиком "Нового времени" Ивановым и очутился на его литературном вечере, Суворин и Буренин уселись за ужином около меня и передали мне просьбу "моего приятеля", они так и назвали его, Чехова, дать хоть один рассказ для "Нового времени", который мог бы появиться вместе с его

рассказом. Я постеснялся отказать им, а потом вспомнил либеральные прижимки, на которые пожаловался мне также и больной Салтыков, отвергнутый, между прочим, "Неделей" "страха ради иудейска" и хотя принятый, но очень побледневший в "Вестнике Европы".

Рассказ мой, который я отдал в "Новое время", назывался "Пожар".

— Да вас теперь съедят, — сказал мне с хохотом Чехов, приехавши ко мне и крепко пожимая мне руку, — тем более, что рассказ... — тут он расхвалил его.

Да и Утин, также приехавший ко мне, только уже не с благодарностью, а с порицанием, отозвался о рассказе как о таком, за который Стасюлевич заплатил бы мне втрое больший гонорар, лишь бы он не появился в "Новом времени". Вскоре после этого я напечатал еще несколько рассказов в "Новом времени". Суворин обещал мне полную свободу писать что хочу, ругать кого хочу и что хочу, хотя бы самого Буренина. Но тем не менее я прекратил сотрудничество в этой газете, так как стал вчитываться в нее и убедился, что, в

самом деле, кто чересчур увязнет в "Новом времени", тот должен "оставить надежду навсегда". К этому заключению пришел в конце концов и Чехов. И я и он прекратили давать рассказы Суворину, и разница между нами была лишь в том, что Чехов начал в "Новом времени" свою литературную карьеру, а я уже пользовался крупным именем, когда спустился до этой газеты. Здесь не было литературной ошибки, но был несомненно политический проступок. Как бы я ни был критически настроен по отношению к либералам, все-таки к нововременцам у меня должно было быть другое отношение и мне надо было по-прежнему сторониться от них. Справедливо упрекнул меня покойный Лемке на моем пятидесятилетнем юбилее, когда он, перечисляя в весьма повышенном тоне пройденные мною литературные этапы и восхваляя мои художественные произведения, отметил появление мое в "Новом времени" как нечто, лежащее пятном на мне. Кстати, он должен был бы присоединить к этому и появление моих рассказов и двух романов в "Русском вестнике", который, хотя после смерти Каткова и

принял более умеренный характер, все же принадлежал к тем органам, где я не должен был выступать с самыми безразличными художественными вещами, невзирая на лесть, с которой ко мне обращался новый редактор, сравнивая меня с Достоевским по силе таланта (мы, писатели, к сожалению, легко поддаемся на издательский фимиам).

В "Лоскутной" я первым делом зашел к Чехову.

За несколько лет, что я не видался с ним, он мало изменился, только лицо как-то стало землистее. Мы вместе сели за обед, и Чехов начал мне жаловаться на Суворина:

— Конечно, что и говорить, Суворин называется моим благодетелем, он вывел меня в свет, он издавал и издает мои книжки и платит всё по четыреста рублей за томик, я, должно быть, получил уже от него тысяч сорок за эти годы. Но сколько нажил на мне Суворин! Мне до сих пор трудно отскрестись от "Нового времени", это на мне на всю жизнь останется. Москва только разве поддержит, а в Петербурге какой-нибудь "Вестник Европы" отказался меня печатать. "В степи" пришлось

отдать в "Северный вестник", правда, хороший журнал, но подписчиков там мало, а хочется публики. Даже во "Всемирную иллюстрацию" я насилу пролез...

— Да нет, что вы! — вскричал я.

— Да ведь только благодаря вашему содействию.

— Да вы забыли, должно быть, — повторил я, — в вашу честь редактор Быков даже пломбир необыкновенный закатил и гостей обидел: все на вашу тарелку выложил. Нет, вы там были желанным, и гонорар большой заплатили.

— Ну да, но Стасюлевич так и не взял ни одной моей повести. Я особенно не убивался, но, кажется, я все-таки писатель. Я слышал от Утина, что Стасюлевич из-за "сукина сына" клялся на всю жизнь не допускать меня на страницы своего журнала, а "сукин сын" только однажды и проскользнул в "Степи", да и как из песни выкинешь такое красочное выражение. Нет, я решил больше не издаваться у Суворина. Перекочевал в "Русскую мысль", здесь ребята хорошие, как будто даже социализмом попахивает, так что я начинаю меч-

тать, что у нас лет через двести начнется коммунизм.

Чехов подшучивал, обыкновенно, над всем и прежде всего над самим собой, шутил как-то кротко, но умно, что обыватели называют юмором и не всегда могут раскусить, в чем дело и в чем соль.

— Знаете, что я иногда думаю: хорошо бы нам, писателям-беллетристам, не участвовать совсем ни в каком журнале, чтобы быть независимыми. Отчего у нас никак не привьется книжная система? Вот светские писатели, как Апраксин и Голицын-Муравлин, те ухитрились все-таки создать себе имя, выпуская романы отдельными книгами. Правда, у них определенный круг читателей. Может быть, тогда у нас и деньги водиться будут, а то тяжело без денег сидеть. Издатель бахвалится, что он тебя создал, взрастил, взлелеял, накормил, одел, а на самом деле десятки нас от чухотки погибают, а издатель до ста лет доживет в благополучии. Я вообще заговорил о чухотке еще и потому, что у меня явные признаки этой проклятой немочи, полагаю, что мне больше десяти лет не прожить. Вы не спорь-

те, это для меня аксиома. Хотел бы до того времени обзавестись хуторком, а еще приятнее было бы на берегу моря что-нибудь соорудить и там умереть, смотря, как в море лазурное погружается солнце пурпурное.

У Чехова в самом деле от времени до времени случались припадки кашля, но вообще он не производил впечатления больного. Так многие кашляли до семидесяти лет, что называется, скрипят и не умирают.

Одиночество Чехова часто разделяли молодые барышни, которые приходили к нему, сидели у него, что-нибудь вслух декламировали, большей частью филармонички, увлекали его на концерты. Он был любезным молодым человеком с той положительной складкой в обращении, какая обличает обыкновенно врача, изучающего мир сквозь реальные очки. Последнее обстоятельство не помешало Чехову, однако, написать, как раз во время нашего пребывания в "Лоскутной", почти мистический рассказ "Черный монах".

— Вы мне как-то рассказывали о каком-то адвокате, — признался мне Чехов, — который страдал тем, что мушволант[1] разрасталась

по временам в целую призрачную тень. Никогда не следует делиться нам друг с другом своими замыслами; положим, у вас был не замысел, а факт в запасе, но, видите, я из такого факта сочинил целое произведение. Я подложил под этот факт медицинскую теорию. Вообще меня крайне интересуют всякие уклоны так называемой души. Если бы я не сделался писателем, вероятно, из меня вышел бы психиатр, но, должно быть, второстепенный, а я психиатром предпочел бы стать первостепенным.

— Вы, Антон Павлович, — возразил присутствующий тут при этом Говоруха-Отрок, он же критик "Московских ведомостей", только что расхваливший в ряде фельетонов рассказы Короленко (между прочим, за то, что он, рисуя даже полицейских чинов, не лишает их человеческого образа), — вы ведь первоклассный писатель.

— Не очень-то меня считают первоклассным, а происходит это оттого, что этот первоклассный писатель, о котором вы свидетельствуете с такой самоотверженностью, весьма и весьма сомневается в своих силах и работа-

ет не столько потому, что работается, сколько потому, что надобно.

— А вот, — продолжал Говоруха-Отрок, — Шеллер-Михайлов, из дружбы к которому приехал хлопотать в Москву Иероним Иеронимович, — такой писатель, которого следовало бы взять да положить на диван вместе со всеми его сочинениями, и пусть себе лежит так до второго пришествия. Или вот еще Потапенко. Когда читаешь его романы и повести, то так и кажется, будто кто-то сейчас разулся...

Не успел кончить злобный критик своих слов, как вошел сам Потапенко, который явился для того, чтобы пригласить Чехова и меня на вечер в отдельный кабинет к Тестову, куда он уже привлек Апраксина как знаток по части еды и, так сказать, прирожденно-го метрдотеля.

— Может быть, и вас можно было бы сопричислить, Юрий Николаевич? — обратился он к Говорухе-Отроку.

— Нет, уж я и так пришел к Чехову не без внутреннего трепе та: а что, думаю, если не примет. Он только что сломал решетку в "Но-

вом времени" и переселился в больницу "Русской мысли", а на первых порах ужасно, как люди чисто плюют, да и повредить могу Чехову. Ясинский — тот уже обтерпелся; а что запоют Вукол Лавров и Гольцев да еще либеральнейший Муромцев, когда дойдут до них слухи, или кто-нибудь напечатает в "Московском листке", что такие-то и такие-то знаменитейшие писатели, краса и гордость левой литературы, кутили у Тестова с мытарем и грешником из "Московских ведомостей"? — Говоруха-Отрок истерически рассмеялся стоноушим, плачушим смехом.

У Тестова ужинала с нами еще сестра Чехова Мария Павловна, если не ошибаюсь в имени, и должен был быть Левитан, у которого были какие-то недоразумения с правом жительства в Москве. Этаким удивительный русский художник, даже с симпатией к колокольному звону и к тихим обителям — и тот терпел в Москве в качестве еврея! Кстати вспомню о другом художнике-скульпторе Аронсоне, которому дозволялся проезд в Петербург на время выставки его произведений только на месяц, а писатель Шолом-Аш со-

всем не допускался в Петербург, и когда кончился срок его, кажется, трехдневного пребывания (не помню, сколько дней полагалось для евреев оставаться в столице российского царства), спасался у меня на Черной речке, чтобы иметь возможность закончить свои литературные дела.

Вечер у Тестова прошел весело, но, по мнению Чехова, не по-московски, потому что мало было выпито. Первый признак литературной и всякой московской пирушки выражается в том, что лезут друг к другу целоваться, а иногда пробуют бороться, причем и порядочные люди напиваются, но, однако, не дерутся и не дебоширят, потому что у порядочных мало денег. Это не то что какие-нибудь Морозовы, которые ворочают миллионами и считают себя вправе портить в ресторанах рояли, бить зеркала и рубить пальмовые деревья. Какой-то Тит Титыч выпорол даже знаменитого в Москве издателя уличной газетки и заплатил за это большие деньги. Еще кто-то несколько лет тому назад, когда издатель был еще просто редактором, вымазал ему горчицей физиономию всего за двадцать пять руб-

лей.

Не помню, кто еще присоединился к нашей компании уже под конец, помню то, что он убеждал нас отправиться в игорный дом, в какой-то клуб, где играют богачи и где только что вошла в моду "железная дорога", или попросту "железка".

На следующий день Чехов поехал со мной взглянуть, что делается у Яра. Ночь была зверски морозная. У меня меховой шубы не было. У Чехова была русская шуба с высоким воротником. Я порядком озяб. Мы с Чеховым выпили бутылку теплого лафита. Румянец выступил на его лицо, но от двух стаканов вина он стал как-то еще трезвее и делал остроумные характеристики проходившим мимо кутилам и завсегдатаям Яра. По неулови мым для меня признакам узнавал он, кто из них занимается торговлей, кто комиссионерством, кто темным делом.

— А вот этот, наверное, торгует живым товаром, — указал он на одного солидного барина с покрашенными усами и с чересчур черной бородой, увешанного золотыми цепочками и сверкающего бриллиантовыми пальца-

ми. — Послушай, — обратился он к лакею, подававшему нам ужин, — скажи, братец, кто это такой, не бандер?

— Так точно, — ухмыльнулся лакей, — а вы что же, забыли их обличье?

— Да я никогда и не видал его; куда нам, студентам, было знакомиться с такими важными птицами!

Бродившие по ресторану в ожидании добычи безработные певички или цыганки с черно-алмазными глазами и в пестрых нарядах вплоть до парчевого сарафана внезапно набросились на нас, обсели наш столик и заказали себе несколько блюд. Лакей вопросительно посмотрел на меня и на Антона Павловича.

— Мы, — сухо проговорил Чехов, — денег не делаем, поищите себе других благодетелей, мы благодетельствуем только издателям, а не прекрасным девицам.

Это было сказано таким тоном и так решительно, что девицы нас сейчас же оставили в покое.

— Увидеть какого-нибудь Савву Ивановича или Нохим Борисовича, подражающего

ему, как он рубит паркет, разуваается и моет ноги в шампанском, не всегда можно удостоиться. Это дело случая, хотя гораздо скорее можно напороться на такую сцену, чем встретить здесь добродетельную женщину... Да и к черту добродетель. Со временем о ней составит совсем иное представление.

В конце концов посетили мы и игорный дом. Невероятная скука охватила нас, как только мы вошли в пресловутый клуб и услышали шелест игральных карт. Я обратил внимание Чехова на физиономии игроков: каждый по-своему выражал присущую коммерческим душам жадность, но и это нас не очень развлекало.

Большей частью мы проводили время то у меня, когда приехала ко мне жена с обоими мальчиками, то в театре, то в номере у Чехова, где преобладала женская молодежь. Мне показалось, что Чехов как бы присматривается, на ком ему жениться.

Как-то зашел разговор о литературных меценатах.

— А что, если бы я попросил вас, Антон Павлович, исследовать почву в богатых купе-

ческих домах, где вас, по слухам, усердно принимают, не нашлось ли бы издателя для Шеллера? Ему и нужно-то каких-нибудь всего тысяч пятнадцать-двадцать для первого издания.

Чехов набросился на меня:

— Не советую вам обращаться к меценатам. Это самый гнусный народ, и всегда вся скверна из него вылезает: станет бахвалиться, требует унижительного поклонения ему, чуть ли не чтения вслух по утрам, когда он лежит в постели, готовых повестей. Меценат потому покровительствует писателю, что хочет подняться над ним, купить его и распоряжаться даже его личностью. Я знаком с некоей Варварой Алексеевной, богатейшей купчихой, но я не взял вот настолько одолжения от нее. Она готова была найти мне невесту с приданым, и даже хорошенькую, но я только рассмеялся. Довольно уже с меня и такого мецената, как Суворин.

— Но вы же с ним в дружбе, Антон Павлович!

— Да, и считаю его умнейшим циником, который со мной вдвоем становится искрен-

ним и хорошим человеком, но все-таки тяжело. В его глазах я читаю, что без его помощи я не сделался бы Чеховым. Мне же стало с некоторых пор казаться, что некоторая доля морального воздействия на Суворина последнее время принадлежит мне, то есть он так или иначе и мне обязан. Конечно, он меня любит, и я также его люблю за его ум и любовь ко мне. Так уж устроена душа человеческая, что любовь порождает любовь. Ну, а все-таки, если человек начинает на тебе ездить верхом, приятнее отделаться от него в том смысле, чтобы он не ездил. Пускай любит, но не ездит.

Я завел наконец переговоры с Сытиным о сочинениях Михайлова.

— Так-то так, имя почтенное, — сказал мне Сытин, — но устарел для нашего времени. Вы сами знаете, что народился новый писатель, и издавать таких, как Михайлов, дело не мое, а, например, Глазунова. Глазунов все классиков издает; Михайлов, положим, не подошел к классикам, но вроде. Ранняя молодежь, может быть, еще будет его читать. А вот я бы что-нибудь вас попросил мне продать. Недавно "Наташку" вашу "Посредник" переиздал.

Сколько вы с него получили?

— Я ничего не получил. "Посредник" издал без моего разрешения.

— Вы можете с него теперь взять, что хотите.

— Что вы, я ничего не возьму. "Посредник" издает с благой целью!

— Я тоже с благой целью издаю, — возразил Сытин, — я у Никольских ворот начал. Меня Дорошевич (*тогдашний популярный московский фельетонист*) как малограмотного не раз надувал и, так сказать, обучал. Принесет что-нибудь из Пушкина, за свое выдаст, я и издам. За "Тараса Бульбу" еще заплатил ему двадцать пять, за дешевкой гнался, по правде сказать, и показалось интересным. Пришел квартальный в лавочку, я и похвастан: вот какой писатель выискался, далеко, говорю, пойдет, а он взял рукопись, прочитал, да и говорит: "В арестантское отделение уходит". За то, говорит, что это Гоголя, а это Пушкина. Пришлось одно издание совсем уничтожить, а другое разобрать в типографии. Ну, а рукописи на память оставил. Дорошевич теперь знаменитостью сделался. Только я, как

читаю его фельетон, все думается: откуда он это слямзил? Моя неграмотность заставила меня между тем за ум взяться, и я за свой счет стал заводить в деревнях школы просвещения. Я чуть не тысячу книгоношей воспитал так и разослал по всем концам и, знаете, не ошибся, потому что, чем больше затрачено было на просвещение, тем больше мне было дохода, так что я могу в настоящее время ворочать уже и солидными предприятиями; может быть, газету осную, так что буду богат, потому что объявлениями можно запрудить всю Россию; того же Дорошевича возьму за жабры, так что и на вас, между прочим, надежда.

— А вот что, Иван Дмитриевич, — вспомнил я, — Чехов здесь, в Москве!

— Кто-то мне говорил об этом, — оживился Сытин, — пошлите-ка его ко мне, сварю я с ним пиво. У меня в запасе есть несколько свободных тысяч, попробую и я. Суворин его здорово использовал, да авось на мою долю хоть немножко еще осталось.

В "Лоскутной" я передал Чехову предложение издателя, начинающего богатеть. Чехов

повеселел:

— Сказал, что есть несколько свободных тысяч? Как раз мне нужно тысяч семь на хуторок. Сплю и вижу. Кстати, и земской медициной можно заняться в глуши. Как-никак все же я врач. Иногда начинает под ложечкой сосать. Ну, спасибо за приятное известие.

На другой день утром я поехал за покупками по поручению жены. Стояли все такие же страшные морозы. Вдруг мои санки на Никольской улице чуть не сцепились со встречными санками, в которых сидел, высоко подняв воротник своей русской шубы, Чехов. Он замахал мне рукой и весело закричал, хлопая себя по груди:

— А хуторок уже здесь! Я Сытина выдоил, он клялся, что последние деньги отдал, врет. Говорит, что не расположен больше ничего покупать, пока на мне не наживет, говорит, пробный шар пускаю. Сегодня вечером у вас чай пью, а завтра уезжаю совсем из Москвы! Еще раз спасибо!

С тех пор лично я уже не встречался с Чеховым. Иногда мы переписывались. Кое-какие письма его были напечатаны мною по

просьбе биографов Чехова, когда он умер. Одни письма хранятся еще у меня, а остальные автографы я подарил собирателям литературных документов Фидлеру, Юргенсу да еще Измайлову.

В одном письме Чехов, узнав, что я купил на Черной речке кусочек земли и построил дом, спрашивает меня: "Завелись ли у Вас уже собственные домовые?". Он писал о своем хуторе и был доволен. Письма его дышали удовлетворением собственника. "А чертовская вещь эта собственность, — писал он, — увязает в собственности, как муха в меду, и отделаться от нее не можешь".

Примечания

1

Летающие перед глазами мушки.

[^^^]